

Валерий Шубинский
писатель и независимый исследователь
shubatv@mail.ru

Shubinsky Valery
writer and independent researcher
shubatv@mail.ru

ВЕЩЬ И ДЕЙСТВИЕ (к постановке вопроса)

THING AND ACTION (Towards the Formulation of the Question)

В статье ставится вопрос об особенностях восприятия Даниилом Хармсом и писателями его круга вещественности, о том мистическом и одновременно комическом смысле, который приобретала для них вещь, освобожденная от прагматических функций и в предельном случае от формы, и о том, какими путями достигается это освобождение в текстах авторов ОБЭРИУ.

Ключевые слова: ОБЭРИУ, Даниил Хармс, вещь, предмет.

The article raises the question of the peculiarities of Daniil Kharms' and writers close to him's perception of materiality, the mystical and at the same time comic meaning that a thing that is freed from pragmatic functions and, in extreme cases, from its inherent form acquires for them, and the ways in which this liberation is achieved in the texts of the OBERIU authors.

Keywords: OBERIU, Daniil Kharms, thing, object.

Название одного из ранних рассказов Даниила Хармса, «Вещь» (1929) можно истолковать двояко: «вещь» как литературное произведение и как предмет. Эта двусмысленность очевидна. При втором прочтении уже это название несет элемент абсурда и загадочности, так как никакой отдельно взятой «вещи» в рассказе не появляется. Перед нами описание праздничного ужина «папы», «мамы» и «прислуги Наташи», который нарушает бессмысленное появление (и затем исчезновение) агрессивного «монаха».

Авторское внимание не задерживается ни на одном предмете — «вещей» как таковых в рассказе нет.

Но что означает «вещь» в хармсовском мире — если отождествить для простоты «вещь» с «предметом»? Напомним характеристику творчества Хармса, данную Заболоцким в «Декларации ОБЭРИУ»: «ДАНИИЛ ХАРМС — поэт и драматург, внимание которого сосредоточено не на статической фигуре, но на столкновении ряда предметов, на их взаимоотношениях. В момент действия предмет принимает новые конкретные очертания, полные действительного смысла» (ОБЭРИУ 1928: 11–12) Таким образом, фиксируется важнейшая сторона восприятия «вещи» («предмета») Хармсом — вещь приобретает бытие/очертания/форму в ходе действия и во взаимодействии с другими предметами. В этом смысле Заболоцкий противопоставляет Хармса себе — «поэту голых конкретных форм», явленных в статике и вне взаимодействия.

Теперь обратим внимание на собственные слова Хармса, относящиеся именно к этому периоду («Предметы и фигуры, открытые Даниилом Ивановичем Хармсом», 1927):

«Всякий предмет (неодушевлённый и созданный человеком) обладает четырьмя рабочими значениями и пятым сущим значением. Первые четыре суть: 1) начертательное (геометрическое), 2) целевое значение (утилитарное), 3) значение эмоционального воздействия на человека, 4) значение эстетического воздействия на человека. Пятое значение определяется самим фактом существования предмета. Оно вне связи предмета с человеком и служит самому предмету. Пятое значение — есть свободная воля предмета» (Хармс 1997а: 305–306).

Таким образом, предмет/вещь обладает некой сущностной характеристикой, которая независима не только от утилитарной функции, но и от эмоционально-эстетических реакций и человека и даже от «геометрического значения», то есть от формы самой вещи. Мы видим противоречие определений: в формулировке Заболоцкого (с которой Хармс согласился) «смыслом» обладают «очертания» вещи (то есть ее форма), тогда как в «Предметах и фигурах» «свободная воля предмета» реализуется в отрыве как от других вещей, так и от формы.

Общеизвестно (из воспоминаний И. В. Бахтерева), что в обэриутском кругу существовало понятие *фарлушка*, означавшее афункциональный обломок предмета¹. Такой ущербный предмет потенциально обладал мистическим значением (а мог и не обладать им!), так же как абсурдное действие или сочетание звуков — на чем и основана природа обэриутского метафизического комизма. Вещь, утратившая свою утилитарную функцию вместе с формой, приобретала тем самым новую «метафизически чистую» форму.

¹ Или «вещь нулевой необходимости» (определение из неопубликованного позднего рассказа обэриута Александра Разумовского «Волшебная лампа Аладдына», Отдел рукописей РНБ, ф.1254, оп. 1, е. х. 21).

Но в то же время освобождение от утилитарности могло происходить и в процессе взаимодействия предметов (и в этом смысле определение Заболоцкого осмысленно). Абсурдность тех ситуаций, в которых оказывается «вещь» в прозе и драматургии Хармса, ситуативно превращает их в фарлушки и тем самым придает им новый «смысл» — смысл бессмыслицы. Например:

«...2. Один скрипач купил себе магнит и понес его домой. По дороге на скрипача напали хулиганы и сбили с него шапку. Ветер подхватил шапку и понес ее по улице. 3. Скрипач положил магнит на землю и побежал за шапкой. Шапка попала в лужу азотной кислоты и там истлела. 4. А хулиганы тем временем схватили магнит и скрылись» (Хармс 2001: 25–27).

Скрипач, покупающий магнит (немотивированно), уже выпадает из обычного хода вещей. Однако дальше мы видим, как потенциально интересный хулиганам предмет (шапка) дематериализуется, а добычей их становится предмет в их случае прагматически бессмысленный (магнит) — между тем последующая причинно-следственная связь (при том абсурдная: скрипач, расстроенный потерей шапки, теряет и пальто) никак это странное приобретение хулиганов не учитывает.

В произведениях Хармса достаточно регулярно возникают и предметы изначально афункциональные (часы без стрелок в *Старухе*). Третий вариант — традиционный прием остранения, когда автор «забывает» о функции предмета («странные дощечки и непонятные крючки» из детского стихотворения).

Можно сопоставить все эти варианты мистического осмысления природы «вещи» вне ее прагматического и эмоционального ореола со стихотворением другого поэта обэриутского круга — Николая Олейникова «Бублик» (1932):

О бублик, созданный руками хлебопека!
Ты сделан для еды, но назначение твое высоко!
Ты с виду прост, но тайное твое строение
Сложней часов, великолепнее растения.
Тебя пошляк дрожащею рукой разламывает. Он спешит.
Ему не терпится. Его кольцо твое страшит,
И дырка знаменитая
Его томит, как тайна нераскрытая.
А мы глядим на бублик и его простейшую фигуру,
Его старинную тысячелетнюю архитектуру
Мы силится понять. Мы вспоминаем: что же, что же,
На что это, в конце концов, похоже,
Что значат эти искривления, окружность эта, эти пятна?
Вотще! Значенье бублика нам непонятно.

(Олейников 2015: 250–251)

У Олейникова прагматический смысл вещи упомянут, но ему противопоставлен другой, «таинственный», архетипический. Неопределенность

и загадочность этого смысла (в сочетании с бытовой тривиальностью предмета) порождает комический эффект, не исключаяющий и не разрушающий мистический.

Еще один случай — когда предполагаемая функция вещи оказывается (с точки зрения других наблюдателей) фиктивной и бессмысленной. Пример — детский рассказ Хармса и Дойвбера Левина «Друг за другом», в котором описываются изобретатели бессмысленных приспособлений:

«Ново? Небывало! Необходимо всем и каждому! Прибор, помещающийся на голове, при помощи которого шляпа снимается автоматически. Достаточно небольшого наклона головы, чтобы шляпа приветственно поднялась вверх. Незаменимо, когда обе руки заняты чемоданами...» (Хармс 1997b: 153)

В этом рассказе появляется еще один важный для обзериутского отношения к «вещи» мотив — полный отрыв имени предмета от его сущности, произвольность имени:

«— Вот, — сказал изобретатель, — видите восемь фигурок: четыре желтых и четыре синих. Называются они так: первая фигура изображает корову и называется “корова”.

— Простите, — сказал редактор, — но ведь это не корова.

— Это не важно, — сказал Астатуров. — Вторая фигура — самовар и называется “врач”, желтые и синие фигуры совершенно одинаковы» (Хармс 1997b: 148).

Мотив бессмысленных изобретений доведен до полной концентрации в рассказе Геннадия Гора «Вмешательство живописи» из книги *Живопись* (1933), где отрицательный персонаж Петр Иванович Каплин, наделенный узнаваемыми чертами Хармса, создает своего рода механический компьютер:

«Доска не оказывала почти никакого сопротивления. Податливая, она быстро принимала форму круга. Вырезав несколько кругов разнообразной величины, Петр Иванович приделал их к одному центру. Затем он испытал их вращение; они вращались не хуже любого колеса. Оставалось только взять перо и чернила. И Петр Иванович взял перо и чернила. Тут он изменил себе. Он сначала мысленно разметил и только после того обозначил все известные ему разряды мысли, все родовые и видовые понятия во всех возможных комбинациях. Посредством вращения кругов разнообразные подлежащие и определения передвигаются одно к другому, образуя предложения и сплетаясь в умозаключения. Короче говоря, он изобрел мыслительную машину» (Гор 1933).

Фантастическая машина может бесконечно компилировать слова и формировать любые утверждения, но по теории вероятности подавляющая их часть будет ложной, и, главное, нет никакого критерия их истинности. Перед нами пример «вещи» не просто афункциональной, но и продуцирующей и символизирующей тотальную афункциональность.

По словам Ж.-Ф. Жаккара «...поэтика Хармса основывается на фазе разрушения, целью которого является приведение описанного мира в со-

стояние нуля, то есть в состоянии, освобожденное от произвольных связей, соединяющих различные части. Фаза *перестройки заключается в изображении мира в континууме, в текучести, то есть в другой системе связей*. Только эту другую систему Хармс так и не нашел» (Жаккар 1995: 152) Мы бы сказали, что именно ее принципиальная ненаходимость является условием самостоятельного бытия Вещи (в себе).

Символом такой самодостаточной «вещи» для Хармса и Введенского является Шкаф, как вещь, обладающая внутри себя таинственным «полым» бытием. Хармс, напомнил, выезжал, сидя на шкафу, во время вечера «Три левых часа». В стихотворении Введенского «Мне жалко, что я зверь...», где «вещи» и их тайная жизнь (в том числе такие тривиальные вещи, как «ковер» или «гортензия») становятся предметом ностальгии автора, желающего отождествиться с ними, «шкаф» выделен в их ряду: он (или, точнее, обозначающее него слово) — «вещества крутое тесто». В это смысле он отличается от других вещей, переживающих драму своей отдельности, своего само-бытия:

Мне страшно что я при взгляде
на две одинаковые вещи
не замечаю что они различны,
что каждая живет однажды.
Мне страшно что я при взгляде
на две одинаковые вещи
не вижу что они усердно
стараются быть похожими.

(Введенский 2010: 209)

Для шкафа, можно предположить, такой драмы нет: он — сверхвещь, источник и родитель всех прочих.

Возвращаясь к рассказу 1929 года, вспомним еще одну цитату из «Предметов и фигур»:

«Человек, вступая в общение с предметом, исследует его четыре рабочих значения. При помощи их предмет укладывается в сознании человека, где и живёт. Если бы человек натолкнулся на совокупность предметов только с тремя из четырёх рабочих значений, то перестал бы быть человеком. Человек же, наблюдающий совокупность предметов, лишённых всех четырёх рабочих значений, перестаёт быть наблюдателем, превратясь в предмет, созданный им самим» (Хармс 1997а: 305–306).

Другими словами, человек, столкнувшийся с вещью в чистом виде, материальной «фарлушкой» или метафизическим образом вещи, сам превращается в вещь. Но что это значит?

Вот что пишет С. В. Кекова:

«...Характерной чертой поэтики обэриутов является овеществление всего, что находится вне поэтического сознания. Мир, состоящий из предметов, окружающих человека, становится своеобразным магнитом, притягиваю-

щим к себе и включающим в свой сложный состав то, что, казалось бы, ему иноприродно. Происходит тотальное опредмечивание непредметного, материализация идеальных сущностей и понятий» (Кекова 2007: 63).

Так как книга Кековой посвящена в первую очередь Заболоцкому, она дальше сосредоточивается на творчестве этого поэта:

«У Заболоцкого одним из мощнейших семантических потоков, организующих его художественный мир, является стремление превратить в неодушевленный мертвый предмет и человека с его живым, пульсирующим телом, и растение, и животное. <...> Существеннейшая черта поэтики Заболоцкого — превращение живого в неживое. С чем связана эта особенность организации поэтического мира? Если говорить о глубинном восприятии мира поэтом, о его мироощущении, то необходимо отметить, что и предметная среда у Заболоцкого не нейтральна: она несет в себе мощный семантический потенциал смерти. Предметный мир — это мир мертвый, если в нем присутствует движение, то это движение чисто механическое, если мы видим действующие предметы, как бы «живущие» своей внутренней жизнью, то и жизнь эта весьма специфична — это жизнь мертвая, имеющая источником своего существования демоническую энергию» (Кекова 2007: 63).

Можно добавить, что у Заболоцкого, как у наследника идей Просвещения, подлинная жизнь связана с сознанием, разумом, творчеством, то есть «человеческими» категориями: ущербно-человеческое перемещается в ряд вещественного в связи со своей бессознательностью и объектностью — но в то же время все бытие пронизано сознанием, эту вещественность преодолевающим по мере очеловечивания. Когда Заболоцкий сравнивает дерево с «деревянной колонной», он не понижает, а повышает его в ранге, так как колонна является объектом культуры, частью ноосферы — и в этом смысле она меньше вещь, чем неразумное дерево.

У Хармса и Введенского мы видим прямо противоположное движение: превращение человека в вещь может быть чаемым и желанным, так как вещь (оторванная от прагматики и вообще от всякой роли в человеческом мире) обладает особым, абсолютным бытием. В этом смысле можно интерпретировать и рассказ: вторжение абсурда в житейскую рутину разрушает ее и превращает людей в бессмысленно-свободные «вещи». При этом сюжет рассказа можно понимать двояко: мы можем предположить, что папа-«забудыга» ведет себя (несмотря на появление загадочного монаха) по своему ежедневному сценарию (включающему немотивированную пьяную истерику) или, наоборот, что появление-монаха вещи чем-то этот сценарий нарушило. Однако на конечный итог это не влияет. Если же «вещью» является само повествование, то уже оно приобретает вышеописанные метафизические черты.

ЛИТЕРАТУРА

- Введенский Александр. «Мне жалко, что я не зверь...». Введенский Александр. *Всё*. Москва: ОГИ, 2010: 208–210.
- Гор Геннадий. «Вмешательство живописи». Гор Геннадий. *Живопись*. Ленинград: 1933: 124–156.
- Жаккар Жан-Филипп. *Даниил Хармс и конец русского авангарда*. Санкт-Петербург: Академический проект, 1995.
- Кекова Светлана. *Мироощущение Николая Заболоцкого: Опыт реконструкции и интерпретации*. Саратов: Саратовский государственный социально-экономический университет, 2007.
- ОБЭРИУ. *Афиши Дома печати* 2 (1928): 11–12.
- Олейников Николай. «Бублик». Олейников Николай. *Число неизреченного*. Москва: ОГИ, 2015: 250–251.
- Хармс Даниил. «Предметы и фигуры, открытые Даниилом Ивановичем Хармсом». Даниил Хармс. *Полное собрание сочинений*. Т. 2. Санкт-Петербург: Академический проект, 1997a: 305–307.
- Хармс Даниил, Левин Дойвбер. «Друг за другом». Хармс Даниил. *Полное собрание сочинений*. Т. 3. Санкт-Петербург: Академический проект, 1997b: 148–155.
- Хармс Даниил. «Связь». *Неизданный Хармс*. Санкт-Петербург: Академический проект, 2001: 25–26.

REFERENCES

- Gor Gennadij. “Vmeshatel’stvo zhivopisi”. Gor Gennadij. *Zhivopis’*. Leningrad: 1933: 124–156.
- Harms Daniil. “Predmety i figury, otkrytye Daniilom Ivanovichem Harmsom”. Daniil Harms. *Polnoe sobranie sochinenij*. T. 2. Sankt-Peterburg: Akademicheskij proekt, 1997a: 305–307.
- Harms Daniil, Levin Dojvber. “Drug za drugom”. Harms Daniil. *Polnoe sobranie sochinenij*. T. 3. Sankt-Peterburg: Akademicheskij proekt, 1997b: 148–155.
- Harms Daniil. “Svyaz”. *Neizdannij Harms*. Sankt-Peterburg: Akademicheskij proekt, 2001: 25–26.
- Kekova Svetlana. *Mirooshchushchenie Nikolaya Zabolockogo: Opyt rekonstrukcii i interpretacii*. Saratov: Saratovskij gosudarstvennyj social’no-ekonomicheskij universitet, 2007.
- OBERIU. *Afishi Doma pečati* 2 (1928): 11–12.
- Olejnikov Nikolaj. “Bublik”. Olejnikov Nikolaj. *Chislo neizrechenogo*. Moskva: OGI, 2015: 250–251.
- Vvedenskij Aleksandr. “Mne zhalko, chto ya ne zver’...”. Vvedenskij Aleksandr. *Vsyo*. Moskva: OGI, 2010: 208–210.
- Zhakkar Zhan-Filipp. *Daniil Harms i konec russkogo avangarda*. Sankt-Peterburg: Akademicheskij proekt, 1995.

Валериј Шубински

СТВАР И РАДЊА
(ПРОБЛЕМАТИЗАЦИЈА)

Резиме

У чланку се поставља питање о особеностима доживљаја Данила Хармса и писаца његовог круга у погледу материјалности, о оном мистичном и истовремено комичном смислу који је за њих попримала ствар ослобођена прагматичне функције и у крајњем случају саме форме, на који начин се достиже то ослобађање у текстовима обериута.

Кључне речи: ОБЕРИУ, Данил Хармс, ствар, предмет.